DOI: 10.24411/2072-9316-2020-00100

Е.В. Кузнецова (Москва)

МОТИВ «ПРОРОЧЕСТВА О НАШЕМ ДНЕ» В «МУЖСКОЙ» И «ЖЕНСКОЙ» ЛИРИКЕ РУССКОГО МОДЕРНИЗМА *(Статья вторая)*[*]

Аннотация. В статье рассматриваются отличительные особенности реализации и смыслового наполнения мотива «пророчества о нашем дне» в женской лирике эпохи модернизма по сравнению с мужской. Анализируются стихотворения З. Гиппиус, Н. Львовой, А. Герцык, Е. Кузьминой-Караваевой, Е. Дмитриевой и А. Ахматовой, созданные в 1890–1920 гг., а также драма-мистерия Е. Кузьминой-Караваевой «Семь чаш», во многом развивающая мотивы ранней лирики поэтессы. Выявляются характерные для произведений перечисленных авторов образы и слова-сигналы, указывающие на библейский подтекст и связывающие реальные исторические события (Первая мировая и Гражданская войны, Октябрьская революция) с катаклизмами, предсказанными в Священной истории. Анализируются развитие мотива пророчества от зарождения смутных предчувствий к констатации свершающегося Апокалипсиса и индивидуально-авторские различия в отношении к концу света. А. Герцык видит в ниспосланных бедах путь к искуплению вины, приближающий ее к Богу, Е. Кузьмина-Караваева уповает на спасение праведников и всеобщее преображение мира, которому она готова способствовать по мере сил, А. Ахматова не разделяет радостных надежд на жизнь после смерти и готова либо разделить трагическую судьбу своих соотечественников, либо содействовать всеобщему спасению путем устранения угрозы Страшного суда. Отмечается также возникновение после 1918 г. в женской лирике характерной трансформации апокалиптического мотива пророчества в мотив утопический, предсказывающий воскресение России, спасение человечества и новое процветание.

Ключевые слова: мотив пророчества; мотив воскресения; Откровение Иоанна Богослова; Апокалипсис; женская лирика.

E.V. Kuznetsova (Moscow)

The Motif of “Prophecy of Our Day” in the “Male” And “Female” Lyrics of Russian Modernism (Article II)[**]

Abstract. The article discusses the distinctive features of the implementation and semantic content of the motif of “prophecy of our day” in women’s lyrics of the modernist era in comparison with men’s lyrics. The author analyzes the poems by Z. Gippius, N. Lvova, A. Gertsyk, E. Kuzmina-Karavayeva, E. Dmitriyeva and A Akhmatova,

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-78-10100) в ИМЛИ РАН.

** The work was done at IWL RAS with the support of the grant of the Russian Science Foundation (project number 19–78–10100).

written in the 1890s–1920s, as well as the drama-mystery by E. Kuzmina-Karavayeva “Seven Cups”, which largely develops the motives of the poet’s early lyrics. The images and words characteristic of the works of these authors are revealed as signals indicating the biblical subtext and linking real historical events (World War I, Russian Civil War, October Revolution) with the cataclysms predicted in the Sacred History. The author analyzes the development of the prophecy motif from the origins of vague premonitions to the statement of the coming Apocalypse and individual author’s differences in their attitude to the end of the world. A. Gertsyk sees the troubles sent down the path to atonement that brings her to God, E. Kuzmina-Karavayeva trusts in the salvation of the righteous and universal transfiguration of the world, which it is ready to contribute as much, Akhmatova doesn’t share the joyous hope of a life after death and she is ready to share the tragic doom of her countrymen, or to promote universal salvation by eliminating the threat of judgment. After 1918 we can see in women’s lyrics the characteristic transformation of the apocalyptic motif of prophecy into a utopian motif predicting the resurrection of Russia, the salvation of mankind, and a new prosperity.

Key words: the motif of prophecy; the motif of resurrection; Revelation of Saint John the Divine; Apocalypse; female lyrics.

Мотив пророчества является заметным феноменом в поэзии Серебряного века, наполненной тревожными предчувствиями скорых перемен: «В русском модернизме построение утопии сочеталось с “эсхатологическим беспокойством”, с напряженным переживанием катастрофичности бытия и истории, с критикой позитивистской картины мира, лишенной религиозного измерения, с отрицанием прогрессизма как внутреннего согласия на “дурную бесконечность” развития без перехода в онтологически новое качество» [Богданова, Гачева 2016, 12]. Болезненные ощущения, вызванные сменой эпох и социальными катаклизмами «заставляли писателей обращаться к образам Апокалипсиса, объединенным темой Божественной кары заблудшему миру (снятие семи печатей, четыре всадника, трубящий ангел, саранча, звезда “полынь”, серп, жнущий землю, семь чаш гнева Божия, зверь из бездны, Вавилон, Великая блудница, Антихрист, последняя битва и др.)» [Богданова, Гачева 2016, 12].

Этот перечень можно продолжить рядом библейских апокалиптических образов, восходящих к Откровению Иоанна Богослова и проанализированных нами в первой части статьи: Люцифер, Змей (зверь, полузверь), комета, голод, мор, трубный глас, а также мифологема «железный век» (последний век перед наступлением Конца света). Они составляют образно-семантический комплекс, который словами Александра Блока можно назвать мотивом «пророчества о нашем дне». На примере произведений К. Случевского, Д. Мережковского, Андрея Белого, А. Блока и М. Волошина мы проследили эволюцию данного мотива и усиление ощущения экзистенциальной обреченности человека с конца XIX века к 20-м годам XX века [Кузнецова 2019, 210–227]. Пророческие интенции в текстах данных авторов касаются не столько отдаленного будущего, сколько настоящего, дня сегодняшнего, в котором усматривается воплощение давно предви-

денных ужасных событий. При этом поэты, ощущающие свое генетическое культурное родство с пророками прошлого, выступают в их роли и не просто вещают, передают человечеству сообщение о грядущем, но и пытаются тем самым его предотвратить: «Заметим, что в эсхатологических пророчествах (в отличие от повествования-воспоминания о прошедших катастрофах) совершенно меняется функция слова: оно становится прагматическим предупреждением, цель которого – повлиять на настоящее» [Кихней, Яковлева 2014, 47]. Тем не менее разговор о том, что уже происходит, облекается в форму предсказания, сохраняя эффект воздействия на читателя, накопленный этим художественным литературно-риторическим приемом, берущим свое начало еще в древнейших литературных текстах.

Обратимся теперь к женской лирике и посмотрим, как в ней проявились эсхатологические и пророческие настроения эпохи. В стихотворении З. Гиппиус «Глухота» (1901) обозначается интересный поворот в интерпретации данного мотива: отказ от прорицания и пророческой роли, констатация торжества обыденной реальности, за пределами которой не ожидается никаких судьбоносных перемен:

Часы стучат невнятные,
Нет полной тишины
Все горести – понятные,
Все радости – скучны.

Угроза одиночества,
Свидания обет...
Не верю я в пророчества
Ни счастия, ни бед.

Не жду необычайного:
Всё просто и мертво.
Ни страшного, ни тайного
Нет в жизни ничего.

Везде однообразие,
Мы – дети без Отца,
И близко безобразие
Последнего конца.

Но слабости смирения
Я душу не отдам.
Не надо искупления
Кощунственным словам! [Гиппиус 1999, 108]

Гиппиус констатирует утрату божественного присутствия в жизни современного человека, пустоту небес, однако память о прежней наполнен-

ности земного существования ощущением Божественного сохраняется в качестве некого идеала, подспудное сравнение с которым составляет сюжетный стержень всего стихотворения. Упоминание небесного «Отца» переводит лексему «пророчество» из бытового в библейский контекст. «Безобразие последнего конца», о котором говорит поэтесса, это не Страшный суд, знамения которого столь явственно ощущали авторы-мужчины, а физическая смерть без какой-либо надежды на вечную жизнь, на посмертное духовное существование. Действительность настолько тривиальна, что Гиппиус кощунственно отрицает библейские предсказания: сверхъестественному нет места в такой реальности. Однако в стихотворении «Дождичек» (1904) обрисовано другое представление о будущем: поэтесса смиряется с пророчествами «о гниеньи, разложеньи <…>, о всеобщем разрушеньи», признаки которых она наблюдает вокруг:

Тучны, грязны и слезливы,
Оседают небеса.
Веселы и шепотливы
Дождевые голоса.

О гниеньи, разложеньи
Все твердят – не устают,
О всеобщем разрушеньи,
Умирании поют. <…>

И, пророчествам внимая,
Тупо, медленно живу,
Равнодушно ожидая
Их свершенья наяву.

Помню, было слово: крылья…
Или брежу? Все равно!
Без борьбы и без усилья
Опускаюсь я на дно [Гиппиус 1999, 150].

Ни «Глухота», ни «Дождичек» не содержат узнаваемых библейских аллюзий, апокалиптические мотивы в этих произведениях уходят в подтекст. Но просвещенный читатель эпохи модернизма легко мог понять о каких пророчествах идет речь. Поэтесса создает с помощью намеков контраст между вселенскими катаклизмами, описанными в Библии, и серой, тусклой, дождливой Россией, в которой их осуществление кажется, с одной стороны, немыслимым, а с другой стороны, можно сказать, что они уже воплощаются, но только без трубного гласа и яркой звезды в небе, а посредством медленного тягостного загнивания, омертвения всего вокруг. Лексемы «небеса» и «крылья» (возможно, ангельские крылья) – единственные зацепки, указывающая на присутствие религиозного слоя в подтексте дан-

ного стихотворения. В целом, можно сказать, что лирика Гиппиус конца 1890-х – начала 1990-х гг. колеблется между верой в обещанное Христом второе пришествие и надеждой на спасение человечества (например, стихотворения 1901 г. «Любовь», «Нескорбному учителю», «Христу», «Тихое пламя») и кощунственным неверием, отрицанием божественных пророчеств, ощущением отсутствия Бога на земле («Бессилье», 1893; «Однообразие», 1895; «Сосны», 1902). К.Р. Андрейчук, касаясь сложной трансформации традиционного для русской литературы отношения к сакральному и пророческому плану в лирике поэтессы, делает интересное наблюдение: «Гиппиус отдаляет свой образ от образа пророчицы и придает ему черты ведьмы, причем это касается не только литературных образов, но и личного имиджа. Тем самым Гиппиус отмежевывается от традиции пророческой "божественной" поэзии, возлагая функцию связи с сакральным на саму себя (конечно, "ведьма" Зинаиды Гиппиус – это не антипод, а наследница "пророков" Пушкина и Лермонтова – впрочем, наследница капризная и бунтующая)» [Андрейчук 2020, 141].

Схожая реализация мотива пророчества наблюдается и в стихотворении Н. Львовой «Небо бледнее и кротче…»:

Небо бледнее и кротче.
Где-то звонят к вечерне…
Тебе, мое одиночество,
Мои песни вечерние!

Вот, вспыхнут лампочки пышные,
Раскроются книги любимые,
А сердце заплачет неслышно:
«Ах, жизнь идет мимо!» <…>

Вокруг все молчит суеверно,
Колокольные смолкли пророчества…
Тебе мои песни вечерние,
Мое одиночество! [Львова 1913, 63–64].

Образы бледного и кроткого неба, электрического света и книг создают картину тривиальной знакомой повседневности, которая по-чеховски трагична своим однообразием, тягучей неизменностью, серостью, хотя и по-своему уютна и безопасна для лирической героини. Память о том, что миру были предсказаны катастрофические потрясения, имплицитно содержится в двух строках стихотворения: «Вокруг все молчит суеверно, / Колокольные смолкли пророчества…». Мир как будто застыл, затих и боится всколыхнуть древнее предсказание, чтобы не спровоцировать его воплощение. В этом застывшем мире лирическая героиня обречена на одиночество и бесцельное существование, так как при ее жизни ничего значимого и глобального не произойдет. Отметим наметившееся измене-

ние в традиционной трактовке мотива пророчества: произнесение вещих слов не предотвращает наступление ужасных событий, а наоборот может содействовать их разворачиванию. Львова не решается взять на себя роль пророка, в то время как поэты-мужчины гораздо смелее и решительнее в этом плане.

Не желает предсказывать будущее и Аделаида Герцык. Поэтесса, прекрасно знавшая Евангелие и писавшая стихи, наполненные религиозными образами, избегает произносить пророческие слова даже тогда, когда после революции 1917 г. в голодающем Крыму всем казалось, что Страшный суд свершается прямо сейчас. В сонете «Отчаяние» (1919) она констатирует такую позицию в следующих строках:

Хор дней бредет уныл и однолик,
Влача с собой распавшиеся звенья.
Лишенная пророческого зренья,
Забывшая слова священных книг,

Стою одна я в этот страшный миг.
В душе ни чаяний, ни умиленья.
– И чудится, что где-то в отдаленьи
Стоит, как я, и плачет мой двойник [Герцык 2004, 156].

Можно с уверенностью утверждать, что Герцык помнит страшные пророчества о конце света, но она *хотела бы их забыть,* чтобы настоящее и будущее не стали их реализацией. Сравним это скромное молчание поэтессы со страстной эсхатологической проповедью М. Волошина, ее близкого друга, высказанной им в стихотворении «Трихины» (1917), к анализу которого мы уже обращались. Если Волошин помещает себя в цепочку знаменитых людей, признанных пророками (Иоанн Богослов, Ф. Достоевский), то Герцык, наоборот, дистанцируется от подобных сопоставлений, однако упоминание «священных книг» дает читателю достаточно информации, чтобы вписать сонет «Отчаяние» в апокалиптическую традицию. Писательница декларирует отказ от попыток предвидеть и истолковывать будущее и в прозе. В небольшом вступлении, которое предваряет ее автобиографический цикл «Подвальные очерки», содержатся следующие строки: «Не судить и не решать призваны мы, пережившие смутное время, *не слагать пророчества*, *не толковать свершающееся.* Если зримо нам то, что умирает, – мы не можем рассмотреть того, что зарождается вновь (курсив мой – Е.К.)» [Герцык 2004, 456].

Однако в лирику Герцык все же проникают пророческие интонации и пугающие перемены и признаки всеобщего краха и конца проецируются на Священную историю: «Историческое время ощущается теперь поэтом как последние времена. <…> Ожидание иного становится ожиданием Мессии» [Риц 2004, 27]. В 1918 г. в Судаке она пишет стихотворение «В кресле глубоком, старом…», наполненное ощущением обреченности,

предчувствием скорой смерти:

Было на сон похоже.
Как трудно руку поднять!
Суд совершался Божий –
Некому было понять.

Гибли народы, дети.
С тех пор в голове моей шум.
Много лилось на свете
Крови, и слез, и дум. <…>

Прошлое давит на плечи.
Скорее бы уснуть!
Милые! Ждите встречи,
Близок теперь вам путь! [Герцык 2004, 148].

Небольшой цикл из четырех стихотворений «Подвальные», сочиненный в большевистской тюрьме, где она пребывала в заключении с 6 по 21 января 1921 г., также содержит аллюзии на Страшный суд, с которым сравниваются происходящие на земле расправы:

В этот судный день, в этот смертный час
Говорить нельзя.
Устремить в себя неотрывный глас –
Так узка стезя.
И молить, молить, затаивши дух,
Про себя и вслух,
И во сне, и въявь:
Не оставь! [Герцык 2004, 163]

Поэтесса не теряет личной веры в Бога и не ропщет на него, несмотря на то что вокруг погибают невинные люди. Вина за все происходящее возлагается не на палачей, а «разыскивается внутри себя» [Риц 2004, 28], тем самым постигается истинный христианский смысл страдания, искупления и испытания:

Одно лишь мне не изменило –
Предвечная вина моя.
Она одна в себе сокрыла,
Где я [Герцык 2004, 169].

Таким образом, молитвенная и религиозная лирика поэтессы 1918–1921 гг. сочетает в себе план вечности, Священной истории, и план современности. Дыхание исторического времени ощущается читателем,

но страшные реалии практически не конкретизируются и подвергаются умолчанию. Взгляд поэтессы обращен внутрь себя, она стремится понять собственный путь к Богу и свою ответственность, но не решается однозначно толковать или оценивать происходящие события.

Однако были женщины-поэты, которые смелее выступали в роли пророка. Мотив «пророчества о нашем дне» можно проследить во многих лирических произведениях Е. Кузьминой-Караваевой 1910-х гг., наполненных библейскими образами и идиомами. Поэтесса вплетает в свои стихотворения такие аллюзии, как архангел с мечом, Книга живых и мертвых, трубный глас, чаши гнева, белый конь, земля обетованная, Небесный Иерусалим (преображенный мир), Страшный суд, пылающие закаты и зори и др. По мнению А.Н. Шустова, сквозным понятием для дореволюционной лирики Кузьминой-Караваевой является «срок» – «синоним Судного дня, грядущего воздаяния и воскресения через смерть» [Шустов 2001, 664]. «Срок» или «сроки» характеризуются устойчивыми эпитетами: последние, близящиеся, вечные, свершающиеся, огневеющие, блистающие, сверкающие, ослепительные, пламенеющие [Шустов 2001, 664]. Например, все стихотворение «Суровая тайна земли обетованной…» из сборника «Дорога» (1914) наполнено намеками на особые, знаменательные события, ожидающие людей впереди и уже свершающиеся:

Суровая тайна земли обетованной,
Суровая радость свободного ветра;
Я снова вернулась, я снова раскована,
Я знаю, – готовится к радости жертва.

Отступнику только грозит одиночество,
И смерть сочетается с тайною жизни;
А верные чтят огневое пророчество
И в очи заглянут, бесстрастные, бездне.

Последняя грань между нами раздвинута,
И сердце навеки слилося с землею,
И знаки людских отречений закинуты;
Что было, – не помню и дней не жалею. <…>

Пусть море шумит, угрожает и пенится,
Пусть где-то людские, ненужные войны; –
Мы верные, знаем, – ничто не изменится,
Мы видели знаки неведомой тайны [Кузьмина-Караваева 2001, 53–54].

«Огневое пророчество» – это аллюзия на Откровение Иоанна Богослова о последней битве добра и зла и последнем суде, ожидающем всех людей. Отметим неожиданное, мажорное настроение присущее этому произведениях поэтессы. Она не скорбит и не тоскует, не томится в зем-

ной юдоли и не боится перемен, а радостно (эта лексема неоднократно повторяется в тексте) ожидает свершения библейских предсказаний («знаки неведомой тайны»), готовая принести свою жертву (краткую земную жизнь) во имя победы светлых сил. «Верным» (в данном контексте – верующим) не страшен Судный день, они обретут свободу и жизнь вечную. Все стихотворение наполнено трепетным и светлым ожиданием приобщения к божественной тайне жизни и смерти и входит в цикл «Начало», другие произведения которого также содержат отсылки к Страшному суду и концу света. Например, в стихотворении «Паломники к неведомой святыни…» содержатся следующие строки: «Как братьев пример нам верховный жрец, / Познавший: человек – великой книги / Живых и мертвых непрестанный чтец» [Кузьмина-Караваева 2001, 55]. Под «книгой живых и мертвых» в данном случае подразумевается «Книга жизни», которая в Откровении Иоанна Богослова является атрибутом Последнего суда: «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своим. <…> И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное (Отк 20: 12,15)» [Шустов 2001, 668–669].

Схожими настроениями ожидания скорого преображения земной жизни и всех людей в момент второго пришествия Иисуса Христа на землю проникнуто и стихотворение «Жить днями, править ремесло…» из цикла «Исход» сборника «Дорога» (1914):

Пусть яркий полог звезд высок,
Пусть мы без пищи и без крова, –
Лишь бы была душа готова,
Когда придет последний срок.

Еще не четок в небе знак,
Пророчество вещает глухо; –
Брат, верь: язык Святого Духа
Огнем прорежет вечный мрак [Кузьмина-Караваева 2001, 66].

Можно сказать, что весь цикл Кузьминой-Караваевой «Исход» представляет собой «пророчество а нашем дне». Каждое стихотворение наполнено предчувствием, ожиданием «таинственного зова, который прозвучит для всех», «последнего часа», «вечного чуда», жертвоприношения Агнца-Бога ради искупления земных грехов [см. подробнее: Боброва 2013, 309–311]. Заглавие цикла приобретает иное, иносказательное значение: не исход евреев из египетского плена в землю обетованную, а исход времени или конец времен, последний час накануне Страшного суда, ожидающего человечество. Толкование заглавия цикла и его пророческие интенции поясняются выбором эпиграфа из книги пророка Иоиля, входящей в состав Ветхого Завета и также содержащей предсказания бедствий, надвигающе-

гося дня Господня, призыв к сохранению веры и покаянию, к выходу из состояния нравственного сна. При этом пророчества Иоиля отличаются радостным предвосхищением спасения Господом Его народа, которому будет предшествовать дарование каждому человеку духовного прозрения: «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения… (Иоиль 2:28–29)» [Кузьмина-Караваева 2001, 66]. Кузьмина-Караваева выбирает для эпиграфа ветхозаветный эпизод, объясняющий наличие у простых смертных (и, соответственно, у самого автора) способности к прорицанию. Второй эпиграф к циклу взят из народной сербской песни («Прочитал ли ты в Писаньи / Во святых, старинных книгах, / Что стоит про наше время? / Наше время – на исходе») [Кузьмина-Караваева 2001, 66]. Первый эпиграф объясняет ту смелость, с которой молодой автор берет на себя пророческую функцию: «И видит взор былые сны / И помнит все былые знаки» [Кузьмина-Караваева 2001, 70]. Второй эпиграф отражает то, как Кузьмина-Караваева воспринимает современность: «наш день» – это время последних сроков, подготовки праведных душ к Страшному суду и спасению, а грешников – к воздаянию. Но пока конец света еще не свершился, автор призывает человека к продолжению своих земных трудов («Жить днями, править ремесло…» [Кузьмина-Караваева 2001, 66]).

Пророческие эсхатологические мотивы звучат и в стихотворениях других циклов книги «Дорога»: «Вестники», «Искупитель», «Спутники», «Преображенная земля», «Последние дни». Наиболее показательно в этом плане стихотворение «Под бременем Божьего ига…», содержащее наиболее яркие отсылки к Откровению Иоанна Богослова:

Под бременем Божьего ига
Мне даже устать нельзя.
Раскрыта священная книга,
Меж строчек – моя стезя.

Я вижу, как древних пророков
Исполнены все слова,
И знаю сверкающих сроков
Законы, нужду и права. <…>

Сегодня все мертвые встали
И обгоняют меня;
Живые, вы не угадали
Все признаки Судного дня [Кузьмина-Караваева 2001, 96–97].

Воскрешение мертвых, которое является одним из предсказанных событий конца света, видится лирической героиней как уже свершившееся. Свою судьбу и даже доказательства божественного избранничества она

прочитывает в священной «Книге жизни», но при этом чувствует себя непричастной судьбоносным переменам, стоящей в стороне от исторических перемен. Героиня ощущает в себе силы явно превосходящие ее скромную роль наблюдателя всемирного катаклизма и надеется исполнить возложенную на нее божественную миссию.

Видения Иоанна Богослова и сам образ библейского пророка становятся основой стихотворной пьесы-мистерии Кузьминой-Караваевой «Семь чаш», осмысляющей период революции и Гражданской войны в России. Уже само название отсылает к семи золотым чашам, наполненным гневом Господним, которые, согласно книге Апокалипсиса, пролились в Судный день на землю. По сюжету пьесы старец Иоанн (Иоанн Богослов) живет на пустынном острове Патмос. Неведомыми путями к нему добирается молодой человек Прохор, который хочет узнать тайны будущего, чтобы понимать истинный смысл событий, происходящих в мире и в жизни каждого человека. Оба главных героя становятся свидетелями излития небесными ангелами семи чаш гнева Господня на землю, и Иоанн отправляет Прохора познать, где и за что пролился божественный гнев. Прохор засыпает и оказывается сначала в ночлежном доме, потом в строю солдат на улице, затем на полустанке среди пленных и видит последствия семи чаш гнева: война, голод, забвение труда, рабство (рабство толпы, утрата человеком Божественной свободы), неверие в Бога. На разбитом снарядами полустанке Прохор слышит разговоры людей, разоренных войной. В репликах одного старика звучит основная идея мистерии: исторические катаклизмы на земле – это реализация давно предреченных в Апокалипсисе событий и наказание людям за их лень, неверие и злобу:

> Все было
> Предсказано давно в священных книгах.
> Читай в главе десятой Откровенья.
> На Патмосе апостол Иоанн
> В виденье ясном видел наше время [Кузьмина-Караваева 2001, 315].

В мистерии «Семь чаш», точный год создания которой неизвестен, варьируются образы и мотивы уже прозвучавшие в книгах стихов «Руфь» и «Дорога», написанных в годы Первой мировой войны, Октябрьской революции и Гражданской войны в России. Молодая поэтесса так же, как и А. Блок, А. Белый или М. Волошин, обращается к форме предсказания и образам библейской апокалиптики для рассказа о событиях, происходящих здесь и сейчас на ее глазах. Прошлое и будущее соединяются, так как время исчезает, прекращает свой бег (именно это должно произойти в момент наступления конца света). В своей поэзии Кузьмина-Караваева чаще прибегает к намекам, она не живописует ужасные подробности военно-революционного времени и не пересказывает пугающие картины из видений пророка Иоанна, а в драматической мистерии страшная реальность представлена с бытовыми подробностями.

Заметное место мотив пророчества занимает также в лирике Анны Ахматовой 1910-х гг. Эсхатологические интонации появляются в ее творчестве в период Первой мировой воины:

Как ты можешь смотреть на Неву,
Как ты смеешь всходить на мосты?..
Я недаром печальной слыву
С той поры, как привиделся ты.
Черных ангелов крылья остры,
Скоро будет последний суд,
И малиновые костры,
Словно розы, в снегу цветут [Ахматова 1990, 83].

Или в стихотворении «Не оттого ль, уйдя от легкости проклятой…»:

И вижу дивный град, и слышу голос милый,
Как будто нет еще таинственной могилы,
Где, день и ночь, склонясь, в жары и холода,
Должна я ожидать Последнего Суда [Ахматова 1990, 117].

В отличии от Кузьминой-Караваевой стихотворениям Ахматовой с мотивом «пророчества о нашем дне» свойственно настроение печали, тоски и отчаяния. Она не находится в радостном ожидании глобальных перемен и не ощущает своей избранности. Для Ахматовой Страшный суд – это действительно конец всего, всей человеческой цивилизации, а не новое начало. Свой личный выбор она определяет как стойкость и верность судьбе своей родины.

В стихотворении «Пыхнет гарью. Четыре недели…» мотив пророчества реализуется в самом сюжете: предсказание грядущих катаклизмов исходит из уст забредшего в деревню прохожего странника:

Стало солнце немилостью Божьей,
Дождик с Пасхи полей не кропил.
Приходил одноногий прохожий
И один на дворе говорил:

«Сроки страшные близятся. Скоро
Станет тесно от свежих могил.
Ждите глада, и труса, и мора,
И затменья небесных светил.

Только нашей земли не разделит
На потеху себе супостат:
Богородица белый расстелет
Над скорбями великими плат» [Ахматова 1990, 97].

Все приведенные произведения относятся к 1914 г., когда Ахматова еще надеялась на то, что нашу землю все же обойдет всемирное безумие, и Богоматерь, которая считается небесной покровительницей России, защитит ее: «Богородица белый расстелет / Над скорбями великими плат». Но уже в конце 1917 г. эсхатологические предчувствия сменяются констатацией свершившегося Апокалипсиса. Особенно ярко апокалипсический сюжет отражен в стихотворении «Когда в тоске самоубийства...» (1917). Эта лирическая пьеса передает гнетущее ощущение всеобщего безумия, нарушения гармоничного состояния мира и общества, боль от забвения людьми моральных норм и праведности:

Когда в тоске самоубийства
Народ гостей немецких ждал,
И дух суровый византийства
От русской церкви отлетал,

Когда приневская столица,
Забыв величие свое,
Как опьяневшая блудница,
Не знала, кто берет ее, –

Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край, глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда…». <…>

Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух [Ахматова 1990, 143].

Данное стихотворение интересно рассмотреть в контексте переосмысления в нем апокалиптического сюжета и наличия скрытых библейских реминисценций. В проекции на Откровение двустишие Ахматовой «И дух суровый византийства / От русской церкви отлетал» обретает новое звучание и означает нарушение православными (и мирянами, и духовенством) строгих нравственных принципов, утрату веры и отказ от подвижнического церковного служения. Образ вавилонской блудницы («опьяневшая блудница»), восходящий также к Откровению, является квинтэссенцией греха и разврата и знаменует скорое пришествие Антихриста. Сравнение города Санкт-Петербурга (Петрограда) с вавилонской блудницей имеет давнюю культурную традицию (в разное время подобное сравнение относилось к таким городам, как Вавилон, Иерусалим, Афины, Рим, Париж) и актуализируется в русской литературе начала XX века [Симонова 2016, 452–467].

По мнению Л.Г. Кихней и Л.А. Яковлевой, измененное состояние мира и церкви чревато появлением Антихриста: «Антихриста во плоти здесь еще нет, но есть его голос: “Мне голос был...”. Здесь Ахматова прибегает к парадоксальному ходу. Ведь вся сюжетная ситуация общения героини с “голосом” проецируется на Откровение Иоанна Богослова. В частности, сама формула “мне голос был” по сути дела – парафраз речи Иоанна, предваряющей апокалипсическое сказание (ср.: “Я слышал позади себя громкий голос, как бы трубный” (Откр., 1, 10))» [Кихней, Яковлева 2014, 47]. Однако если пророк Иоанн слышал голос Бога, то «голос», который слышится лирической героине стихотворения, воспринимается ей как лжепророческий как дьявольское наваждение: «Ведь в “Откровении” “трубный глас” передает через Иоанна некое послание семи Церквам и подчеркивает их подвижническое и аскетическое служение христианскому учению, в то же время некоторым из них ставит в вину стяжание, любодейство и недостаток веры (грех маловерия) как своего рода душевный застой…» [Кихней, Яковлева 2014, 47]. Неведомый «голос» у Ахматовой призывает героиню не к духовной стойкости, а к тому, чтобы покинуть погибающую Россию, чем и выдает свою дьявольскую природу: «Истинно пророческий голос не может к этому призывать, ибо первохристианский пафос как раз в обратном: “Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть... Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни” (Откр., 2, 10)» [Кихней, Яковлева 2014, 49]. Лирическая героиня сумела распознать обман Антихриста и поэтому «замкнула» свой слух, сделав таким образом свой личный выбор и навсегда связав свою судьбу с судьбой своей Родины.

Зинаида Гиппиус в стихотворениях революционных лет также с горечью говорит о свершившихся пророчествах, причем как библейских, так и своих собственных. Стихотворение «Петербург» 1919 г. предваряет эпиграф из другого одноименного стихотворения Гиппиус 1909 г.:

…И не сожрет тебя победный
Всеочищающий огонь, –
Нет! Ты утонешь в тине черной,
Проклятый город…
1909. «Петербург»

В минуты вещих одиночеств
Я проклял берег твой, Нева.
И вот сбылись моих пророчеств
Неосторожные слова. <…>

О, не тебя, но повседневность
И рабий сон твой проклял я…
Остра, как ненависть, как ревность,
Любовь жестокая моя [Гиппиус 1999, 336].

Неосторожные слова страшных пророчеств, произносить которые опасались и Львова и Герцык, все же были сказаны и, как кажется Гиппиус, навлекли на Россию и Петербург ужасные беды и несчастия. Во втором стихотворении, посвященном Петербургу, поэтесса пытается силой своего художественного дара исправить ситуацию и вместо гибели пророчит граду Петра Великого восстание из праха и новую славу:

Чей нужен бич, чье злое слово,
Каких морей последний вал,
Чтоб Петербург, дитя Петрово,
В победном пламени восстал? [Гиппиус 1999, 336].

Таким образом, эсхатологический и апокалиптический мотив «пророчества о нашем дне» замещается в этом стихотворении *мотивом преображения, спасения, восстания Санкт-Петербурга (и России) из пепла.* Данный мотив возникает и в лирике Герцык. Вместо запечатления пугающих картин действительности и толкования их в свете библейской символики, поэтесса стремится в творчестве найти забвение, утешение, выразить надежду на скорое воскресение России и, возможно, даже приблизить его своим поэтическим словом. В качества примера можно процитировать сонет «В годину бед и страшного итога…» (1919):

Вы, полюбившие на грани лет!
Ваш жребий жертвеннее и чудесней.

Вокруг сожженные поля лежат –
Вам суждено всему сказать: воскресни!
И обратить пустыню в Божий сад [Герцык 2004, 154–155].

Адресаты сонета завуалированы, и нельзя однозначно утверждать, кто скрывается под местоимением «вы» и кто же должен воскресить землю. Но речь идет о некоем любовном союзе (новые Адам и Ева?), который будет заключен «в годину бед и страшного итога» и станет движущей силой великого преображения. Приподнятым настроением и верой в чудо проникнуто также стихотворение Е. Дмитриевой (Черубины де Габриак) «России» 1922 г., завершающееся предсказанием возращения чистоты и святости поруганной Родины, завуалировано воспроизводящее библейский сюжет прощения Богом раскаявшейся блудницы и перекликающееся со стихотворением Ахматовой «Когда в тоске самоубийства…»:

Да освятится это место,
Где попирали дух и плоть…
Россия – скорбная невеста.
Ее возьмет один Господь.

Освободит от поруганий,
Целуя в грешные уста,
И браком в Галилейской Кане
Ее вернется чистота. <…>

Преображенные, другие,
Пойдем за ней, не помня зла,
Когда к небесной литургии
Нас призовут колокола [Черубина де Габриак 1998, 142–143].

Пророчества о гибели уступают место предсказаниям возрождения и в произведениях авторов-мужчин. Показательны в этом плане такие лирические произведения М. Волошина о судьбе России и мира, как «Неопалимая Купина» (1918), «Европа» (1918) («России нет – она себя сожгла, / Но Славия воссветится из пепла!») [Волошин 2003, 268], «Заклятье о русской земле» (1919), «Потомкам» (1921), «На дне преисподней» (1922) и др. Порой два мотива соседствуют в рамках одного стихотворения. В лирической пьесе «Из бездны» (1918) апокалиптические предчувствия и отчаяние сменяются утопической надеждой на воскресение:

Полночные вздулись воды,
И ярость взметенных толп
Шатает имперский столп
И древние рушит своды.
Ни выхода, ни огня...
Времен исполнилась мера.
Отчего же такая вера
Переполняет меня?
Для разума нет исхода.
Но дух ему вопреки
И в бездне чует ростки
Неведомого всхода [Волошин 2003, 260].

Подведем некоторые итоги. И в мужской, и в женской поэзии Серебряного века мы наблюдаем присутствие устойчивого повторяющегося апокалиптического мотива «пророчества о нашем дне», который спроецирован на библейские описания конца света и Страшного суда (Откровение Иоанна Богослова, книга Иоиля). Однако в творческой практике поэтов-мужчин этот мотив включает в себя также мифологему «железного века», наступление которого, ознаменованное техническим прогрессом машинной цивилизации, является предзнаменованием Апокалипсиса. В женской лирике упоминание «железного века» не встречается, а предвестниками скорого конца света становятся тревожные внутренние психические состояния лирических героинь, необъяснимые страхи, грезы, видения, а также такие явления, как странная тишина (молчание колоколов), бесконеч-

ный дождь, пустые небеса и др.

Если в конце 1890-х – начале 1900 гг. поэтов только обуревают смутные предчувствия, то события 1917–1920-х гг. осмысляются как реализация Апокалипсиса и ставят вопрос о роли нравственного совершенства человека в исходе глобальной катастрофы и в судьбе человечества вообще. Если поэты-мужчины размышляют о влиянии морального выбора человека (каждого из людей) на результат борьбы сил Добра и Зла, Бога и Дьявола, то женщины-поэтессы больше задумываются о своем личном выборе. Герцык видит в ниспосланных бедах путь к искуплению вины, приближающий ее к Богу, Кузьмина-Караваева уповает на спасение праведников и всеобщее преображение мира, которому она готова способствовать по мере сил, Ахматова не разделяет радостных надежд на жизнь после смерти и готова либо разделить трагическую судьбу своих соотечественников, либо содействовать всеобщему спасению путем устранения угрозы Страшного суда [Яковлева 2014, 11–12].

Можно отметить большую степень сдержанности некоторых поэтесс (З. Гиппиус, Н. Львовой, А. Герцык) по сравнению с авторами-мужчинами в словесном выражении пугающих предчувствий, осторожность и ответственность в отношении своего поэтического слова. В женской лирике усиливается художественная роль подтекста, намека, умолчания. Оба плана (вечности и исторического времени) размываются, становятся зыбкими и опознаются читателем с помощью включения в текст слов-сигналов: «ангел», «крылья», «небеса», «пророчество», «книга(и)», «срок(и)», «знак(и)», «тайна», «суд», «глас (голос)», «кровь», «гибель», «конец» и др.

Наиболее оптимистичное индивидуально-авторское толкование Откровения Иоанна Богослова мы можем наблюдать в лирике Кузьминой-Караваевой. Даже ее драматическая мистерия в стихах «Семь чаш» после описания жестоких реалий России эпохи Октябрьской революции и Гражданской войны кончается ангелическим преображением и вознесением главного героя Прохора вместе с отшельником Иоанном на небо, что можно рассматривать как чаемый удел, ждущий всех праведников.

Лирическим произведениям подавляющего большинства рассмотренных авторов свойственен трагический пафос, однако намечается также внутреннее кардинальное изменение содержания мотива пророчества: вместо гибели России в произведениях русских поэтов 1910-х–1920-х гг. начинают звучать предсказания воскресения, обновления человеческих душ и нового процветания на родной земле.

ЛИТЕРАТУРА

1. Андрейчук К.Р. Гендер и сакральное: конструирование образа ведьмы Зинаидой Гиппиус // Новый филологический вестник. 2020. № 2 (53). С. 139–150.

2. Ахматова А.А. Сочинения: в 2 т. Т. 1. М., 1990.

3. Боброва Е.В. Апокалипсические и библейские мотивы в лирике Е.Ю. Кузьминой-Караваевой (на примере сборника «Руфь») // Мир, наука, культура, образо-

вание. 2013. № 5 (42). С. 309–311.

4. Богданова О.А., Гачева А.Г. Предисловие // Утопия и эсхатология в культуре русского модернизма. М., 2016. С. 11–14.

5. Волошин М. Собрание сочинений: в 13 т. Т. 1. М., 2003.

6. Герцык А. Из круга женского. Стихотворения. Эссе. М., 2004.

7. Гиппиус З. Стихотворения. СПб., 1999.

8. Кихней Л.Г., Яковлева Л.А. Апокалипсические коллизии и библейские аллюзии в творчестве А.А. Ахматовой к. 1910-х – н. 1920-х гг. // Вестник Тверского государственного университета. Серия «Филология». 2014. № 1. С. 47–52.

9. Кузмина-Караваева Е.Ю. Равнина русская: Стихотворения и поэмы. Пьесы-мистерии. Художественная и автобиографическая проза. СПб., 2001.

10. Кузнецова Е.В. Мотив «пророчества о нашем дне» в «мужской» и «женской» лирике русского модернизма (Статья первая) // Новый филологический вестник. 2019. № 51. С. 210–227.

11. Львова Н. Старая сказка. М., 1913.

12. Риц Г. Аделаида Герцык – поэтесса меж временем и вечностью // Герцык А. Из круга женского. Стихотворения. Эссе. М., 2004. С. 5–30.

13. Симонова О.А. Образ «вавилонской блудницы» в русской литературе начала XX в. // Утопия и эсхатология в культуре русского модернизма. М., 2016. С. 452–467.

14. Черубина де Габриак. Исповедь. М., 1998.

15. Шустов А.Н. Примечания // Кузмина-Караваева Е.Ю. Равнина русская: Стихотворения и поэмы. Пьесы-мистерии. Художественная и автобиографическая проза. СПб., 2001. С. 659–743.

16. Яковлева Л.А. Апокалипсическая семантика в поэзии А. Ахматовой: автореф. дис. … канд. филол. н.: 10.01.01. М., 2014.

REFERENCES
(Articles from Scientific Journals)

1. Andreychuk K.R. Gender i sakral'noye: konstruirovaniye obraza ved'my Zinaidoy Gippius [Gender and the Sacred: Zinaida Gippius Designing the Image of a Witch]. *Novyy filologicheskiy vestnik*, 2020, no. 2 (53), pp. 139–150. (In Russian).

2. Bobrova E.V. Apokalipsicheskiye i bibleyskiye motivy v lirike E.Yu. Kuz'minoy-Karavayevoy (na primere sbornika "Ruf'") [The Apocalyptic and Biblical Motifs in the Lyrics of E.Yu. Kuzmina-Karavayeva (on the Example of the Collection "Ruth")]. *Mir, nauka, kul'tura, obrazovaniye,* 2013, no. 5 (42), pp. 309–311. (In Russian).

3. Kikhney L.G., Yakovleva L.A. Apokalipsicheskiye kollizii i bibleyskiye allyuzii v tvorchestve A.A. Akhmatovoy k. 1910-kh – n. 1920-kh gg. [The Apocalyptic Collisions and Biblical Allusions in the Works by A.A. Akhmatova in the Late 1910s – Early 1920s]. *Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya "Filologiya"*, 2014, no. 1, pp. 47–52. (In Russian).

4. Kuznetsova E.V. Motiv "prorochestva o nashem dne" v "muzhskoy" i "zhenskoy" lirike russkogo modernizma (Stat'ya pervaya) [The Motif of "Prophecy of Our Day" in the "Male" And "Female" Lyrics of Russian Modernism (Article I)]. *Novyy*

filologicheskiy vestnik, 2019, no. 51, pp. 210–227. (In Russian).

(Articles from Proceedings and Collections of Research Papers)

5. Bogdanova O.A., Gacheva A.G. Predisloviye [Preface]. *Utopiya i eskhatologiya v kul'ture russkogo modernizma* [Utopia and Eschatology in the Culture of Russian Modernism]. Moscow, 2016. pp. 11–14. (In Russian).

6. Rits G. Adelaida Gertsyk – poetessa mezh vremenem i vechnost'yu [Adelaide Gertsyk – a Poet between Time and Eternity]. *Gertsyk A. Iz kruga zhenskogo. Stikhotvoreniya. Esse* [Gertsyk A. From the Circle of Women. Poems. Essays]. Moscow, 2004. pp. 5–30. (In Russian).

7. Shustov A.N. Primechaniya [Comments]. *Kuzmina-Karavayeva E.Yu. Ravnina russkaya: Stikhotvoreniya i poemy. P'yesy-misterii. Khudozhestvennaya i avtobiograficheskaya proza* [Kuzmina-Karavayeva E.Yu. The Russian Plain: Poems. Mystery Plays. Fiction and Autobiographical Prose]. St. Petersburg, 2001. pp. 659–743. (In Russian).

8. Simonova O.A. Obraz "vavilonskoy bludnitsy" v russkoy literature nachala XX v. [The Image of the "Whore of Babylon" in the Russian Literature of the Early 20th Century] *Utopiya i eskhatologiya v kul'ture russkogo modernizma* [Utopia and Eschatology in the Culture of Russian Modernism]. Moscow, 2016. pp. 452–467. (In Russian).

(Thesis and Thesis Abstracts)

9. Yakovleva L.A. *Apokalipsicheskaya semantika v poezii A. Akhmatovoy* [The Apocalyptic Semantics in the Poetry of Anna Akhmatova]. PhD Thesis Abstract. Moscow, 2014. (In Russian).

Кузнецова Екатерина Валентиновна, Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН.

Кандидат филологических наук, научный сотрудник. Область научных интересов: история русской литературы рубежа XIX – XX веков, культура Серебряного века, поэтика лирики, литературная пародия.

E-mail: katkuz1@mail.ru

ORCID ID: 0000-0001-6045-2162

Ekaterina V. Kuznetsova, A.M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences.

Candidate of Philology, Research Associate. Research interests: history of Russian literature at the turn of the 20th century, the culture of the Silver Age, poetics of lyrics, literary parody.

E-mail: katkuz1@mail.ru

ORCID ID: 0000-0001-6045-2162